РАЗГОВОР О ТЕМЕ ДНЯ

Встреча с Леонидом Леоновым

«...все мы, порознь и в совокупности, целеустремленной деятельностью своею как бы ваяем себя и к финалу, переболевшие различными безумствами, вместе с иммунитетом принимаем отпечаток поиска, служившего смыслом и средством нашего существованья».

(Из фрагмента «Последняя прогулка»)

ФОРТУНА склонна к шуткам. Вот одна из них. Его не приняли в университет по причине «непростительно» слабого знания Достоевского. А несколькими годами позже на рекламном пояске первого немецкого издания леоновской книжки автор провозглашался как «новый Достоевский в новой России».

Его появление на литературном небосклоне было замечено сразу. И сразу он оказался в центре острейших дискуссий.

Кажется, Леонову было предопределено испытывать сильные температурные перепады — его жизнь от изначального осознания себя в окружающем мире уже как бы помечена особой метой. В числе первых впечатлений, отложившихся в недрах его детской памяти, — вдруг глухой, издалека, словно ватный шар, удар в оконную раму и взволнованно зазвеневшие стекла. «Это в Кремле Каляев кинул бомбу под экипаж великого князя Сергея», — через десятилетия мимоходом, в нашем с ним разговоре, обронит Леонов.

Случайно ли действительность, за краешек которой зацепилось его пробудившееся сознание, предстала в таком грозном обличье? При том, что последующие биографические события в той или иной степени оказались отраженными в произведениях художника, создавшего неповторимый мир образов «Барсуков», «Соти», «Вора», «Скутаревского», «Дороги на Океан», «Русского леса», и что, конечно же, невозможно провести разделительную грань между писателем и человеком, мы не знаем очень многих подробностей этой судьбы.

В скупых, лаконичных (всего на полутора страничках!) строках автобиографии прочерчены, и то всегда пунктирно, только некоторые ее детали: арест отца, крестьянского поэта-самоучки, за издание революционных брошюр, развал родительской семьи, жизнь в калужской деревне, затем в доме деда, московского лавочника, годы учебы в гимназии, уход добровольцем на гражданскую, работа в красноармейской дивизионной газете и, начиная с 1922-го, профессиональная *писательская деятельность.*

Леонов не склонен более подробно рассказывать о себе. Он полагает, что творчество писателя — «единственно достойная биография», ибо «позволяет видеть, как в лупу, главные события его ума и понять внутренние связи между возникавшими в разный период его деятельности идеями на всем протяжении творческого пути».

— А что, кстати, было бы крайне занятно, — посмеялся Леонов, — составить экспериментальное жизнеописание подобного романиста с немой биографией единственно на основании его произведений, памятуя, что для такого автора книг с героями без прототипов, и пользовавшегося всегда как бы слепками с самого себя, описанные там эпизоды должны быть неминуемо отражениями каких-то лично с ним происшедших событий.

***

В кабинете, в саду, в большой аудитории — все это разный, непохожий человек. Затруднителен поиск самих слов, способных с максимальной приближенностью, без сгущения красок, выразить поточнее, чем в этом беглом очерке удалось мне, впечатления о нем. Мешает существование «некоей загадки Леонова», на которую столь часто ссылаются (и чем объясняют особенности стиля, мировоззрения, философскую основу его уникальной прозы) даже самые наипроницательнейшие критики и толкователи леоновского творчества.

Да и может ли быть иначе? Этот художник создал книги, с годами как бы новеющие в своем содержании. На нем лежит отсвет дружбы и отеческой заботы А. М. Горького. Он был объектом привязанности многих «больших стариков» (выражение Леонова. — **В. П.**) той поры: его любили и дарили своим вниманием художники В. Д. Фалилеев, И. С. Остроухов, Д. Н. Кардовский. Творчество молодого Леонова высоко ценили М. В. Фрунзе (провидческими стали его слова, сказанные 3 марта 1925 года на заседании литературной комиссии ЦК РКП(б) о Леонове: «это будет крупная литературная величина»), М. И. Калинин, А. В. Луначарский; К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, постановщики его пьес в Московском художественном театре, выдающийся русский издатель М. В. Сабашников, ставший впоследствии его тестем.

Всегда расспрашивала людей, которым выпала редкая удача личного общения с писателем: какой он в жизни, Леонид Максимович Леонов? Делились впечатлениями: у него руки мастерового, глаза мыслителя; в разговоре колюч; когда сердится, становится грустным; энциклопедически образован; знает живопись, необычайно музыкален; одно время профессионально чинил примуса и лудил самовары; последовательно увлекался фотографией, старой книгой, и по сей день — ботаникой. А в молодости деревянной резьбой — с намерением поступить во ВХУТЕМАС (куда его тоже, в том же году, не приняли: «с горя пришлось заняться литературой»).

КОГДА я приехала на дачу писателя в подмосковный поселок Переделкино, Леонов был в саду, очевидно, возился с коллекцией своих растений. Подошел к крыльцу, оттирая черные от земли руки, протянул большую ладонь. Взглянув на припасенный (для верности) магнитофон, решительно заявил: «Технику спрячьте куда-нибудь подальше». И потом добавил: «Больше давайте практику руке и перу».

Мне запомнился его облик. Отметивший в прошлом году восьмидесятилетний юбилей, Леонов физически крепок и статен. Шестьдесятилетий почти ежедневного труда за письменным столом (в молодые годы он, по собственному признанию, «мог по одиннадцати часов работать, много!») не оставили столь привычных для людей «чернильной профессии» примет — в его фигуре ни грузности, ни сутулости. Откровенному удивлению усмехнулся в усы: «Это правда, вел себя в жизни довольно аккуратно». Густая седина и голубая, с распахнутым воротом рубашка подчеркивали загорелость лица, на котором выделялись глаза, смотревшие... скорее, озабоченно.

Когда церемония первого знакомства завершилась, Леонов пригласил пройти в рабочую, неожиданно скромную комнату. Письменный стол, полки с книгами, пара кресел у журнального столика, репродукции Брейгеля, рублевской «Троицы», туеса на бревенчатых некрашеных стенках составляют обстановку этой примечательной лаборатории слова.

Сидели против окна, за которым весело, по случаю проглянувшего солнышка, пересвистывались птицы, укрывшиеся в кронах берез, посаженных, как вся прочая здесь растительность, руками радетельных хозяев.

Покойный Григорий Романович Эйтинген, лесник и профессор Тимирязевской академии, дружественно и с большой теплотой вспоминаемый моим собеседником, «в шутку, конечно», — замечает Леонов, собирался поручить кому-нибудь из своих студентов в качестве курсовой работы сделать описание леоновской ботанической коллекции.

Пауза. Затем совершенно неожиданное:

— Сколько здесь ненаписанных страниц... Все это результат моих сугубых творческих, а иногда — со стороны, и зря причиненных мне огорчений...

***

Беседа продолжалась несколько часов. Мысль Леонова, неоднократно и тут же уточняемую поправками, воспроизвести столь же трудно, как, наверное, бывает неспециалисту повторить формулы физика или врача. В основном речь шла об интересующей нас специальности и, в частности, о наиболее привлекательной для моего собеседника области творчества — литературном мышлении.

Слышится мне глуховатый голос писателя:

— ИДЕИ тоже имеют родословную, как люди и все явления. И корни той идеи, которая осуществляется сегодня у нас в стране и в мире, мне кажется, уходят очень далеко. А поскольку литература всегда рассматривалась мной как ответственный, как наиболее доходчивый и потому в общественном плане наиболее полезный род мышления, то в своих статьях, среди трактовок нашей профессии иногда толковал писателя как толмача, переводчика сложных, неведомых явлений и событий на общедоступную художественную речь. Мне не раз приходило в голову сравнение жизни с нетерпеливым ваятелем или гончаром, который, непрестанно творя неповторимые шедевры, тут же сминает их в погоне за каким-то одним совершеннейшим, — ради которого только и стоило рождаться художнику на свет. Священным делом последнего становится закрепить в мраморе, красках, в свинцовых литерах ландшафты, встречи, разговоры с собой наедине, всякого рода откровения — все это быстротекучее, ускользающее чудо бытия. Но есть призвание и поважнее, самое дефицитное в наши дни. В плане большой русской литературы я бы обозначил роль писателя как следователя по особо важным делам человечества: самое почтенное занятие для человека с пером. И сколько же ему непосильной навалилось работы, — такие уж сверхисторические дела творятся сегодня на его глазах. Пожалуй, не было в истории людей более строгого переломного периода, чем вот эти тридцать — сорок лет, в которых мы активно присутствуем. Периода тем более ответственного для совести и ума, что живаемое нами нынче сгущение всяких роковых обстоятельств объясняется не причудами слишком нервного солнца в этом году и на манер поветрия связанного с ним крайнего международного беспокойства, а совсем по другой, более суровой причине?»

В самом деле, не разумнее было бы объяснять стремительные события последнего полстолетия с распадом великих империй, династий и фирм, с повсеместным крушением колониальной системы, успешной перекраской некогда всего лишь трехцветной политической карты мира, испестрившейся национальными оттенками, не коварными кознями пресловутого Кремля, а безмерно усложнившейся экономикой стихийно осознающего себя человеческого множества? К тому же чрезмерные достаток и привилегии, не обеспеченные соответственным золотом добродетелей, выглядят нынче совсем безнравственно, тогда как интеллектуальное развитие трудящихся масс в целом стихийно и повсюду обгоняет сомнительные совершенства элиты.

А вдруг суть дела в том, что двадцать веков спустя буквально все экспоненты, определяющие экономику, потребности и отсюда всевозрастающую физиологическую уязвимость со стороны условий существования, круто поперли в таинственный свой перекресток наверху, и резвей всего, до жути беспощадно взвивается кривая военной техники.

— Так что никогда еще от начальников не требовались такие серьезные и дальнозоркие раздумья о будущем, как сегодня... вам не кажется?

Потребность осмыслить события текущих дней, самый трудный перегон из позавчера в послезавтра крайне велика и у современников. Именно это является главным, почетным и в силу разных причин почти неосуществимым заданием в моем понимании литературы. А между тем именно здесь она смогла бы и должна играть гораздо большую роль, нежели выполняемая ею... Словом, ее следовало бы нагрузить гораздо большей работой в смысле всесторонней разведки будущего. «В том числе социальная фантастика, квартирьеры генерального наступления, спросите вы?..» Может быть... и даже с наихудшими сюжетными вариантами, фактическим опровержением которых пусть займется литературная и другая критика, по возможности без поломки мебели, разумеется, а также и самое общество повседневной сознательной деятельностью своей. Нет ничего грознее, как не предусмотреть те роковые, вроде волчьих ям, овраги впереди, которые по забывчивости иных плановиков нередко на бумаге не помечаются. Не надо бояться и пессимистичных картинок, «Слово о полку Игореве» тоже не поэтический рапорт о великой победе, а какую историческую работу оно проделало... Кстати, чем крупнее объем времени, из которого мыслитель выцеживает свой опыт, тем глубже и выводы. Точно так же река тем мощней, чем обширней называемая бассейном территория, с которой она собирает свои воды.

В самом деле, под влиянием високосного лета, что ли, довольно разные такие мысли лезут в голову порой... вроде, например, усилившейся выпивки или, скажем, все еще наблюдаемых в нашей творческой действительности сорных тем, восторженных обоюдоприятных реляций и вообще благостной трескотни с поразительно ограниченным словарем.

Не вредно было бы, кабы в свою очередь и какому-нибудь заокеанскому, эмоциональному тожь, рассуждателю взбрело высказаться вслух и погромче: «А давайте-ка, дескать, братцы мои, определимся поточнее, наконец: куда — в какие непроходимые трущобы занес нас черт окаянной наживы. А вдруг перемена все та же грозная и нерешенная, ныне уж в земном варианте осуществляемая, доктрина бедных стучится в мир, и если своевременно не распахнуть ей ворота, как выразился один толковый, в общем-то, резонер из моей старой пьесы, она взломает стены. Смогут ли люди предотвратить это явление? Вот вопрос, на который правомочно ответить только человечество в целом. Само собой напрашивается вывод о неизбежности какого-то престижно обставленного поворота в сторону наступающей новизны, и, в частности, — постепенной, хотя бы, замене все еще практикуемого принципа жизни, джунглевого бизнеса каким-то более пристойным тезисом умного и честного единства на основе не мошны, чистогана и брюха, а некоего эллинского трудового и мыслительного совершенства. Право же, многострадальное человечество заслужило, чтобы по возможности безболезненно было ускорено его преображение.

Возможно, в наши обостренные времена представляется несколько наивным такого рода блоковский призыв, но ведь не к сдаче или к объятиям приглашаю я, а к трезвому осмыслению обстановки и к мужеству, тем более, что уже не лира варварская призывает к благоразумью, а оскаленная на пороге реальность. Бывают исторические задания, которые выгоднее выполнять самому и сверху, прежде чем история реализует их явочным порядком снизу, с причинением издержек покрупнее. Положа руку на сердце, и по-моему скромному разумению, инициатива такого благородного шага должна принадлежать старшему, морально устаревающему старому миру. Согласен, на повестку дня становится тема предельной дерзости. В тесном разговоре помимо коекаких спорных доводов предвижу брань и поношение. Однако новизне пятиться некуда. Пусть вспомнит старина, как сама бушевала во младости, не заботясь о возрастных огорчениях впереди. Конечно, подобное мероприятие несколько изменило бы облик современной цивилизации. Но, право же, шибко боязно, что дальнейшее промедление может повергнуть ее в состояние еще большей неузнаваемости.

Не надо слишком потешаться над вполне дитячьими аргументами, приводимыми здесь взамен иных, совершенно категорических, но, видимо, все еще недостаточно пробивных доводов вроде всеобщего стремления к разрядке. Все надежды мира средоточатся сегодня в этом слове...

Кстати, именно дети по характеру их кровных интересов имеют преимущественное перед взрослыми первенство на свое мнение о будущем мира. К сожалению, их голоса не слышны в разгоревшейся теперь беспорядочной, без регламента дискуссии. Налицо как раз тот случай, про который древние римляне говорили — «тем самым, что молчат, они кричат».

...Существует немало и других почтенных и тоже сверхочередных задач, достойных писательского пера и вдохновенья, например, сохранение в глобальном масштабе источника всеобщего нашего благополучия, для смягчения зверства ласкательно называемого матушкой - голубушкой - природой, необратимо захламляемой наплевательско-потребительским прогрессом. Признаться, поистине мучительны уху и сердцу участившиеся в последнее время надрывные и напрасные, все более авторитетные вопли об уже надвигающейся экологической расплате, заглушаемые мощным чавканьем все того же, из крыловской басни, всемирного Васьки-кота. Не утратила своей насущной остроты и совсем подзатихшая тема иссякающего леса, кротко ожидающего внимания и своим нуждам со стороны бесчисленно облепивших его, преимущественно с топорами, хозяйчиков, хозяйственников и хозяев...

Словом, как бы мелкостно не выглядела каждая отдельная деталь — не осталось ничего маловажного в машине современного прогресса, на повышенных скоростях устремленной в свою сказочную, полную острых переживаний и в конечном итоге вполне загадочную неизвестность.

СЛУШАЛА писателя, и на память приходили его же слова, что художник, какие бы темы ни затрагивал в разговоре, непременно выскажется о том, чем определяется в данную минуту его творческое состояние. Леонов между тем продолжал:

— Судя по письмам и вопросам наших и зарубежных читателей - собеседников, люди как раз испытывают сегодня жгучую потребность определить свое местонахождение на координатах большой истории.

Мне показалось, что вскользь прозвучавший намек имеет непосредственную связь с новым романом, над которым писатель работает в последние годы. Читатели познакомились пока лишь с двумя небольшими отрывками из него. Фрагменты поразительные — по сверхплотному письму, композиционной сложности, панорамному изображению. Тема последнего отрывка уводит далеко за пределы исторических времени и пространства, но корни-то ее в эпицентре нашего бытия. Подтверждается верность автора собственному тезису о том, что каждое произведение обязано быть открытием по содержанию и изобретением по форме.

Кстати, кажется мне, что напечатанный в прошлогодней апрельской книжке журнала «Москва» фрагмент Последняя прогулка произвел бы куда большую общественную работу, появись он в газетной публикации.

В разговоре Леонов вскользь обронил, что опубликованные главки — вставные, это нечто вроде «попутных размышлений на полях книги». Стало интересно проверить собственные догадки относительно их смысла.

— Действительно, — последовал ответ, — в напечатанных фрагментах автор пытался посильно выразить на основе разных, возможно, ошибочных, впечатлений нынешнее истолкование грядущего устами своих персонажей, за мнение которых, в конечном итоге, не отвечает.

В другом отрывке Мироздание по Дымкову как раз есть упоминание о магическом способе отыскать себя на пересечении исторических координат. В тексте оно звучит так: «В земных печалях та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающемалую точку, шепнуть себе: здесь со своей болью обитаю я». И тогда, осознав себя как логическое передаточное звено в протянувшемся через века потоке поколений, человек поймет происхождение своей печали и легче ему станет примириться с ней и взглянуть на грядущее, как возможную арену его собственных свершений или ошибок.

Леонид ЛЕОНОВ. Переделкино. Фото А. КАРЗАНОВА

Первая запись к новому роману была сделана еще в 1939 году, рассказал Леонов. Роман в ходе работы стал тематически разветвляться, пополняться вставками и требует для своего завершения больших единовременных усилий, чтобы не получилось последующего дробного возвращения к тексту, как это было с Вором.

— Вы имеете в виду случившееся тридцать лет спустя возвращение к этому роману?

— Вор еще не законченная книга. Она должна подвергнуться еще одной, совсем небольшой ключевой операции.

РЕЧЬ зашла о современной прозе. Леонова искренне радуют успехи молодых. Он считает, что «в литературу пришло немало отличных и свежих людей во исполнение горьковского пророчества насчет изобилия талантов в раскрепощенной стране». Но его настораживает увлечение самой младшей литературной поросли бытописанием, «порой далеким от тех генеральных тем, которыми диктуется сокрытое сегодня в мире смятение душ, подспудная устремленность всеобщих надежд и чаяний».

Крайне характерное замечание мастера, с первых шагов в литературе расценивавшего бытовую подробность лишь как «винт, которым действие прикрепляется к определенному историческому моменту».

Спросила, творчество каких ныне активно работающих литераторов привлекает внимание писателя. Он назвал имена, сказав при этом, что на многих очень надеется, рад их прочному успеху, но обронил мимоходом, что на месте некоторых сильнее бы уплотнял материал действительности, как сегодня трамбуется она скоростными событиями до плотности кинокадра.

— Впрочем, разные школы, разные вкусы, чем, ко всеобщему удовольствию, разнообразится наша литературная жизнь. Главное же для всей нашей организации — работать на сто процентов того, сколько каждому, как говорится, от бога отпущено, независимо от размеров дарования.

Леонов всегда щедро делился своим литературным опытом с младшими собратьями-литераторами. Но сколько их приводил к нему единственный расчет получить непременное и скорое одобрение, причем разговор по поводу явных неувязок сюжета и композиции, стилевых неряшеств зачастую повергал в уныние, на грани раздражения порой.

Строгий мастер, он, кстати сказать, так же взыскателен и за своим письменным столом. Страницы переписываются до тех пор, пока не получится цельная, полновесная, как на линотипе, отливка, а фраза не приобретет свойства почти научной формулы описанного в ней процесса или логического состояния.

Позволю себе удовольствие процитировать одинединственный абзац:

«Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. Всплески же большой обзорной мысли легко уподобляются пробужденью среди ночи — во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребыванье и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертаний колыбели, где спим. Таким образом, разновременные домыслы о ней суть лишь собственные, возрастные наши отраженья в бездонном зеркале вечности...

Не удивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламмарионовы шарики арифметично курсировали по школьным орбитам, в начале нашего века, вдруг сорвалась и бешено понеслась куда-то. И кто знает, сколько еще раз предстанет она перед потомками в совсем немыслимой перспективе».

В этом наугад взятом отрывке из Мироздания по Дымкову каждое слово работает и все вместе! «Не могу назвать у Леонова ни одной неудачной вещи, — писал в газетной статье Юрий Бондарев. — Все они леоновские. Все они доведены до крайней грани заостренности мысли и чувства, где безраздельно правит человеческими судьбами огромный художник».

Чтение леоновских книг доставляет высокое наслаждение — своеобразие, стилистическая неповторимость, емкий, отточенный до остроты лезвия язык, колдовство, очарование.

— Всегда предварительным необходимым заданием автора является прежде всего инженерный прием — привлечь своего литсобеседника к сотрудничеству при воспроизведении события. А недосказанное до последней точки, как правило, заставляет читателя самого творчески содействовать авторскому замыслу, — говорит Леонов. — Дожив до моих лет немудрено приобрести кое-какие сведения о литературном ремесле.

— Но, как правило, чем больше знаешь, тем меньше можешь, — замечает писатель. — Чем больше изводишь бумаги, тем поневоле нетерпимее делаешься к самому себе. Зачастую для автора здесь немалое повреждение здоровья, зато для литературы чистая выгода.

Видимо в поисках еще более ироничной формулировки, Леонов замолкает — похоже, взвешивает их на авторских весах, тем самым заостряя и уплотняя их до емкости афоризма.

— К сожалению, в настоящем художестве труднее всего потрафить самому себе.

При беглом пересказе невозможно передать ни поминутно возникающих леоновских ассоциаций, ни его редкостного дара импровизации, ни того подлинного артистизма, с каким он воссоздает житейскую сценку, подчеркивая глубину скрытого подтекста. Глаза через стекла очков смотрят при этом внимательно и вопросительно: ухвачена ли суть? Опасаясь смысловой неполноты сказанного, мучительно ищет вторичный образ, чтобы сравнить словесную оболочку с возникающими вкруг провода побочными токами, тогда как «стержневая жила выражает основную нагрузку мысли».

— Поэтому, — с усмешкой бросает мой собеседник, — я смог бы, пожалуй, написать иной словесный вариант на заданный сюжет. Словом, все дело в требовательности к себе. Университет нашего брата поистине в неисчерпаемых глубинах его рабочей темы. Так же, как рост его целиком зависит от критического осмысления своих творческих поступков. Художник творчески существует только до той поры, пока он способен зло и сердито анализировать причины своего трагического неумения.

Над щедростью оценок, раздаваемых иными критиками в его собственный адрес, иронизирует:

— Не рано ли рукоплещете? Посмотрим, как данное рукоделие будет выглядеть лет через двадцать пять после кончины уважаемого автора.

Вспомнились строки из его памятного всем доклада о Толстом: «Все наши произведения, даже любимцев и баловней века, опускаются вместе с их создателями в могилу. Книги должны отлежать свой срок в земле, которая там, впотьмах, пока наверху шумит и ликует молодое, безжалостно сдирает с них кудри и румяна моды, шпаклевку накладного оптимизма...»

***

Свечерело, пора прощаться, вышли на крыльцо. Обычной в этом году пасмурной тишины была исполнена природа. У калитки обсудили напоследок, как происходит за столом у художника преображение такого вот заурядного вечера в произведение искусства, а также можно ли постичь техническую формулу шедевра — для серийного производства.

— По счастью, рецепт этот не раскроется никогда и никому на свете, — посмеялся Леонов. — Потому что в искусстве можно как угодно с единственным условием: чтоб было хорошо.

Записала
В. ПОМАЗНЁВА